

БЫЛОЕ

BYLOE

INDIANA UNIVERSITY
LIBRARIES
BLOOMINGTON

DK1
.B982
New ser.
no. 18

No 18

1922

R-

Воспоминания шестидесятицы.

I. Из детства и юности сестер Засулич.

Я родилась в 1847 г. 23 апреля в смоленской губ., гжатского уезда, в деревне Михайловке, принадлежавшей нашей матери. Деревня эта досталась матери, Θεоктисте Михайловне, совместно с ее сестрой, Глафирой Михайловной, от их отца Мих. Ст. Александрова, крупного помещика, владельца нескольких деревень в гжатском у.

Всех детей у него было 11 ч.—6 сыновей и 5 дочерей. Старшие 3 дочери, еще при жизни отца, вышли замуж, получив богатое приданое, а двум меньшим дочерям,—нашей матери и Глаф. Мих., уже взрослыми девушкам, после его смерти была выделена, как седьмая часть, эта деревня Михайловка, состоявшая из 8 дворов крепостных крестьян (около 40 душ) и 200 десятин земли. Всем остальным наследством завладели братья.

Каким образом удалось двум молодым девушкам обосноваться на голой земле: построить небольшой домок, необходимые службы, обзавестись хозяйством, развести сад и т. д.? Не знаю, конечно, наверное, но предполагаю, что для того, чтобы достать необходимые на все это средства, они заложили землю в Опекунском Совете, как это делали многие помещики того времени. Помню, что у матери была постоянная забота—внести во время проценты в Опекунский Совет.

Глафира Михайловна вскоре умерла, и братья, как наследники, милостиво уступили оставшуюся после ее смерти часть нашей матери, которая и стала владелицей всей Михайловки.

Отец, Иван Петрович Засулич, был дворянином тоже смол. губ., порецкого у., где у него также было небольшое имение. Он был военный, в чине штабс-капитана.

Из рассказов матери я смутно припоминаю, что в ранней молодости отец служил в Петербурге, участвовал в каких-то кампаниях, имел какие-то знаки отличия—кресты, медали, которые нам показывала мать, но за что-то,—помянется, за дерзость начальству, а, может быть, и за пьянство,—был выслан из Петербурга в Архангельск, а оттуда, через несколько лет, был переведен старшим офицером в село Дурьино, гжатского у., находящееся на большом Смоленском тракте, в трех верстах от Михайловки.

Женившись на моей матери, отец вскоре затем вышел в отставку в чине капитана и стал жить в Михайловке, уезжая по временам в свое Порепкое имение.

В одну из таких поездок, он простудился на охоте и умер, оставив после себя пять человек детей. Старшему из нас, брату Михаилу, было 9 лет, сестре Екатерине—7 лет, мне—Алекса́ндре—5 л., Вере—3 г., а самая младшая, Софья, родилась через 3 месяца после смерти отца.

Мать наша была женщина добрая, слабая, безхарактерная, справиться с хозяйством ей было трудно, доход с имения получался небольшой, еле хватавший на прожиток, и ей, вероятно, сильно приходилось задумываться над тем, как вырастить всех нас, дать нам образование.

Катю она отдала на воспитание своей бездетной сестре, Колачевской, еще при жизни отца. Судя по рассказам матери, отец был очень умный и энергичный человек, но горький пьяница и, должно быть, большой деспот. Создав себе кумир из первенца—Мишеньки, он не любил девочку, которая родилась болезненной, раздражительной. Отец был ее, а мать по безхарактерности, не могла встопычаться за нее и решила отдать ее на воспитание сестре.

Вера воспитывалась у двоюродных сестер матери Микулиных, живших в 10 верстах от Михайловки в своем небольшом, благоустроенном имении Выхолова.

Семья Микулиных состояла из трех сестер, взрослых девушек, Елены, Наталии, вышедшей впоследствии замуж за майора Стенрота, Людмилы и брата Николая. Отца и матери их в это время уже давно не было в живых.

В доме Микулиных жил старушка гувернантка, Матрена Тимофеевна фамилия ее я не помню, вернее, никогда и не знала, все почему-то звали ее Миминой или чаще Миминочкой. Еще до поступления под ее попеченье Веры, Мими́на прожила в семье Микулиных лет 15, воспитала всех трех сестер и брата и оставалась жить до глубокой старости и смерти.

Почему Вера в своих записках объясняет пребывание Мимины в семье Микулиных тем, что этого требовал „декорум“ после того, как воспитание младшей из сестер Людмилы закончилось, и Мими́на не могла оставаться без дела,—я этого не могу понять. Причем тут какой-то декорум? Мими́на продолжала жить у Микулиных потому, что нигде в другом месте она и не могла жить, и я не могу себе представить, чтобы тетки Микулины решились отпустить из своего дома ее безродную, бездомную, полусиротную 60-ти летнюю старуху на все четыре стороны. Она требовала присутствия в доме ребенка, которым она могла бы заниматься. Может быть, у нее и было такое желание, но наша мать не отдала бы Веру, без крайней надобности, ради только удобства Мимины. Такой крайней надобностью, как я уже говорила, было именно средство на то, чтобы дать нам образование.

Меня тоже отдала мать своей двоюродной сестре, княгине Оболенской, которая обязалась усыновить меня, дать образование и оставить после себя все свое богатое состояние. Пробыла я у нее всего три месяца; помню, она была со мной очень ласкова, учила меня, но я выказала такую строптив-

вость, так плавала и тосковала по дому, что спустя короткое время она написала моей матери, чтобы та кляла меня обратно.

В это время матерью был приглашен учитель, какой-то молодой человек из Смоленска, для подготовки Миши в кадетский корпус. Этот учитель занялся и со мной и прожил, кажется около года, до поступления брата в Александровский сиротский корпус в Москве. После ухода учителя, со мной немного занималась мать, настолько, чтобы я не разучилась читать и писать.

Одну зиму провели у себя в имении в одной версте от нас помещики Андреевы, постоянно жившие в Москве и раньше приезжавшие к себе в деревню только на лето. У Андреевых было трое детей подходящего ко мне возраста; была у них гувернантка. Я ходила к ним каждый день, училась вместе с детьми и очень подружилась со старшей дочерью Леной. Но следующую затем зиму Андреевы жили в Москве, где у них был свой дом, и я снова была предоставлена сама себе: играла с деревенскими ребятишками, нянчилась с маленькими детьми, к которым должно быть с той поры получила особенное пристрастие. Зимой каталась с горы на санках, летом очень ловко лазала по деревьям, плавала и нырала в пруду, при чем раз чуть было не утонула, — поласкавшая белье баба вытащила меня за волосы.

Каждое лето Микулины отпускали в Михайловку Веру, которая, нянчившись не-по-ходу гувернантки, становилась такой же вольницей, ни в чем не остававшей от меня. Запасшись кусками хлеба, мы по целым дням пропадали в лесу, собирали цветы, которые приносили домой целыми охапками, собирали грибы, ягоды, и все это в сопровождении крестьянских ребятишек и нашей неизменной спутницы Ариночки, дочери нашего скотника. Она была годом старше меня, отец и мать ее умерли, когда она была еще совсем маленькой, и она жила у нас в доме вместе со своей старшей сестрой, тоже Аринкой. В зимние месяцы мы с Ариночкой занимались шитьем и вышиванием гладью, чему научила нас мать и что мне очень пригодилось впоследствии.

Наша мать как тогда, так и позже, когда мы подростки, предоставляла нам полную свободу; не знаю, почему она это делала, но не думаю, чтобы тут играла роль какой-нибудь системы воспитания.

Ученье мое было заброшено, книг для чтения у нас не было, а годы шли; я начинала созреть, что так продолжаться не может, что мне предстоит остаться еле грамотной. Хотелось читать, учиться.

Помню, что когда мне было уже 11 лет, а Вере 8, мать посылала куда-то прошение о принятии нас в один из институтов для благородных девиц. Через некоторое время был получен ответ, в котором предлагалось „сделать за вакансиями“. Эта фраза отчетливо врезалась в мою память. Но делать это из Михайловки, конечно, было немислимо, а в Петербурге и Москве, должно быть, не нашлось у матери человека, который взял бы это на себя. Тем дело и кончилось.

Вскоре затем надо мной смалилась, наконец, тетка Оболенская, она обязалась платить за меня в частный пансион в Москве, который содержали две немки Раль.

В это время туда же поступили мои приятельницы, Лена и Анюта Андреевы, а впоследствии сестра Вера, а также не на долго меньшая сестра Соня.

Трудно было мне, вольной пташке, привыкать к суровому режиму закрытого учебного заведения, под опекой двух черствых немок: нельзя было громко смеяться, громко разговаривать, бегать, прыгать; причем разговаривать и вообще было для меня довольно затруднительно: требовалось, чтобы все без исключения говорили по немецки и по французски, а так как я ни на том, ни на другом языке говорить не умела, а за русский язык следовало наказание, то я принуждена была молчать, и только урывками удавалось поговорить шепотом где-нибудь в уголке с подружкой.

Преследование за русский язык развращало нас: на уличенную в этом преступлении навешивался красный язык, и она должна была обедать стоя; и вот незадолго до обеда начиналась такая история: имевшая язык протала его за ворот, с самым невинным видом подходила к подружке и заговаривала по-русски, та отвечала тоже по-русски и в ту же минуту язык уже висел на ее шее. Чтобы избавиться от него, она проделывала тоже самое с другой, та с третьей, и так шло до тех пор, пока раздавался звонок к обеду; последняя, у которой очутился язык, становилась перед своим прибором.

Практиковалось и дранье за волосы, за ухо, а учительница музыки, тоже немка, родственница одной из наших начальниц, очень больно била меня по голове своими костлявыми, согнутыми пальцами во время урока. Она совсем было отбила у меня охоту учиться музыке, но впоследствии со мной стал заниматься племянник и воспитанник начальниц студент-медик Блюм; и тогда полюбила музыку, и он находил у меня музыкальные способности.

Этот племянник, став доктором, женился, и нашей начальницей стала его жена, т. е. к ней перешло право начальницы пансиона, но порядки остались те же; тот же формализм, та же черствость, так как остались обе старухи — немки: одна была классной дамой, а другая заведывала хозяйством. Наша новая, совсем юная начальница была англичанка, довольно развитая, честная, но при всем желании сделать какие-либо существенные улучшения в пансионе она не могла, так как все материальные средства были в руках старух, и она была в полной зависимости от них.

Учили нас плохо: главное внимание было обращено на изучение языков французского и немецкого, музыки; все же другие предметы проходились очень поверхностно, так что обе мы, я и Вера, не смотря на то, что все время были лучшими ученицами, вышли из пансиона очень мало знаний; по крайней мере, с уверенностью могу сказать это о себе.

Так как это был частный пансион, не дававший никаких прав, то для получения диплома на звание домашней учительницы пришлось мне, а потом и Вере, держать экзамен при университете. Окончив курс в 65 г., я уехала к матери в деревню, где занималась с меньшей сестрой Соней. Через год мать определила Соню в тот же пансион Блюм, а я, по предложению

начальницы, поступила туда же классной дамой. В начале 67 года Вера сдала экзамен при университете.

Сестра нашей начальницы была замужем за серпуховским помещиком, мировым судьей Хмелевым. Приехав как-то в Москву, Хмелев обратился к моему другу нашей начальницы, Блюму, с просьбой рекомендовать ему человека на должность писмоводителя, за которого он мог бы поручиться, что тот не пьяница и не будет брать взятки. Доктор Блюм ответил, что такого человека у него нет, а есть молодая девица, их воспитанница, кончающая курс, за которую он вполне может поручиться, что она не пьяница и не будет брать взятки. Таким образом Вера, получив место писмоводителя у мирового судьи, — уехала в Серпухов.

И пробыла в пансионе классной дамой около года и все время чувствовала себя отстраненно. Пансион был не большой, не было строгого распределения по классам, многие воспитанницы еще знали меня такой же ученицей, как и они, и никак не могли признать во мне в некотором роде начальство; да и сама я не могла иначе относиться к ним, как к подругам, бывшим только на год—два моложе меня. Между тем от меня требовалась строгость, начальническое отношение, из-за чего нередко происходили недоразумения, особенно со старой вешкой, бывшей начальницей, которая, заведя хозяйство, считала себя вправе вмешиваться во все распоряжения пансиона. Тяжело было, только и отдыхала по воскресеньям, когда с утра уходила к старшей сестре, жившей в то время в Москве с двумя нашими землячками — Анной и Людмилой Колачевскими.

Сестра Катя вышла в пансион Дельсаль; когда она подросла, то сбежала от своей воспитательницы, глупой и сварливой тетки, и в эту зиму держала экзамен на домашнюю учительницу при университете. Через сестру я познакомилась с учащейся молодежью и родственницами уже судившихся и сосланных карикозовцев — с сестрами Ивановыми, Матковой, Оболенской и др. Брат Колачевских, Андрей, тоже привлекался по делу Карикозова, но был освобожден без всяких последствий и жил тоже в Москве.

Сестра Катя подписалась в библиотеку и снабжала меня книгами на всю неделю. Читать приходилось по ночам. Пансион и моя должность ценной собаки стали мне еще противнее; душно было, томительно...

Летом 67 года, когда наступили каникулы, я ездила не надолго к Вере в имение Хмелева, находившееся верстах в 5 от Серпухова.

Вера была довольна своим местом; как сам Хмелев, так и вся его семья, мать, жена относились к Вере вполне дружески. Работа ее в качестве писмоводителя первое время шла не совсем гладко; она делала ошибки при составлении бумаг, и Хмелев не раз заставлял ее исправлять и заново переписывать неудачно написанное, но делал он это деликатно, дружеским тоном, с советом не смущаться первыми неудачами. Постепенно работа ее налаживалась и, ко времени моего приезда, она уже делала меньше ошибок.

Тажущиеся, по словам Веры, относились к ней доверчиво; сами же они нередко смущали Веру тем, что при разборе дела осматривали друг друга

отборными, чисто русскими ругательствами или называли некоторые части тела их собственными названиями. Но к этому она потом привыкла и перестала смущаться.

Затем я ездила не на долго к матери в Михайловку, а в августе волей-неволей пришлось вернуться в пансион, так как жить без заработка я не могла; у матери не было средств, а никакой другой работы для меня не предвиделось; да и влася в те времена могла быть другая работа,—даже сельских учительниц еще не было! А к должности гувернантки я так же, как и Вера, чувствовала непреодолимое отвращение.

Мать в эту осень 67 г., отдав имение в аренду, переехала вместе с Соней в Петербург, где поселилась у сына, служившего в лейб-гвардии гренадерском полку. Окончив экзамены в университете, переехала в Петербург и сестра Катя.

На этот раз я не долго прожила в пансионе. Старая вешка становилась все придирчивее, и хотя молодая начальница все время относилась ко мне хорошо, она не могла, по молодости лет, дать старухе надлежащий отпор при ее несправедливых нападках.

В октябре я бросила место в пансионе и также переехала в Петербург, где поселилась вместе с матерью и Соней, наняв комнату на Петербургской стороне. Сестра Катя жила отдельно вместе с Людмилой Колачевской. У меня было немного денег, помнится, рублей около ста—сбережения от 25 рублевого жалованья, которое я получала в пансионе. Затем, как раз перед моим приездом, брату было поручено оборудование д-журной комнаты и столовой в полку: надо было приготовить столовое и постельное белье, чехлы на мебель и т. д. Брат сделал мне платье и между этого белья. Таким образом на некоторое время у меня был небольшой заработок. Шить я умела,—этому научила меня мать, я и белье, и платье сама шила для себя.

Вскоре затем мы решили поселиться вместе целой компанией, состоявшей из нас, трех сестер, нашей матери, Людмилы Колачевской и Марии Антоновны Матвеевой, брат которой был сослан на каторгу по Каравазовскому делу. Знакомые студенты приходили читать нам лекции. Помню, студент Титов читал по математике, студ. медик Кадын, известный потом профессор, читал по физиологии, кто-то еще, фамилии не помню, по общей и русской истории. И учителя наши, и мы, ученицы, занимались очень усердно, но, к сожалению, все это продолжалось недолго: хозяйством никто из нас, молодежи, не занимался, мать, не привыкшая к столичным порядкам и столичной прислуге, вела его плохо, квартира оказалась сырой и холодной.

В январе 68 г. заболела тифом сестра Соня. Мы с матерью, наняв комнату, перевезли ее туда. Когда доктор определил, что у нее тиф, хозяйка испугалась, что мы заразим ее квартиру и разгоним жильцов. Пытались мы поместить Соню в клинику, но это почему—то не удалось, кажется, за недостатком мест. Пришлось отвести ее в 1-й военный госпиталь, где она и умерла 15 лет от роду. Славная, способная была девочка, как ей хотелось жить, учиться. Я осталась жить с матерью, зарабатывая средства шитьем.

В одной с нами квартире занимала комнату некто Майкова, родственница писателя, кажется, жена его брата. Она как-то заказала мне шить ей кофточку; мы разго-орились, познакомились. Это была либеральная женщина, довольно развитая, со средствами. Она подала мне мысль—устроить швейную мастерскую на артельных началах, по примеру Веры Павловны, героини романа Чернышевского „Что делать“, которым тогда многие увлекались.

Я ухватилась за эту мысль, но находила, что для того, чтобы заведывать мастерской, надо самой хорошо знать дело, чего я, конечно, не могла сказать о себе.

Нужны были и средства для оборудования мастерской, но это брала на себя сама Майкова.

К весне того же 68 года стала прихварывать сестра Катя; лечащий доктор посоветовал ей не оставаться на лето в Петербурге, и в мае мы решили вместе с ней переехать на дачу около Москвы в село Филы, где каждое лето жили сестры Ивановы, перенеся туда и свою швейную мастерскую.

Я поехала раньше, наняла крошечную дачку или, вернее сказать, избу, отделенную сеними от другой избы, в которой жил хозяин с семьей. Вскоре переехала и сестра Катя.

Ивановы хорошо знали швейное дело. У них я в первый раз увидела швейную машину, бывшую в то время редкостью; было много заказчиц из богатых московских семей.

Мастерская была самая обыкновенная: кроме самих двух сестер Ивановых, в ней работали 3 швеи на определенном месячном жалованьи. Я поступила ученицей и усердно принялась за работу. У Ивановых было много знакомых среди учащейся молодежи; по праздникам у них собиралась довольно большая компания, вместе гуляла, пела, каталась на лодке. В числе знакомых Ивановых был и студент петербургского университета Лев Павлович Никифоров, ставший потом мужем сестры Кати, но на Филах он бывал редко, и мы не успели с ним близко познакомиться. Ближе сошлось мне с Петром Гавриловичем Успенским, который заведывал в то время библиотекой и книжным магазином Чернышова. Почти каждый праздник он приходил на Филы. Мы подписались в библиотеку, и раз в неделю я, как более здоровая, встав рано утром, отправлялась в Москву, на Лубянку, где помещалась тогда библиотека; версты три от Филей до Драгомановской дороги, да версты четыре—пять по Москве, что не составляло особенного труда для здоровых, молодых ног. Забрав книги, отдохнув немного и выпившись чаю, которым всегда угощал меня Успенский, я отправлялась тем же путем обратно и спешила идти на работу в мастерскую.

В одно из таких путешествий, я на Тверском бульваре встретила неожиданно сестру Веру: она, оказалось, в это утро приехала из С.-Петербурга и с вечерним поездом намеревалась ехать в Петербург, не зная, что мы живем на Филах. Эта случайная встреча оказалась как нельзя более кстати, так как в Петербург Вера ехала только потому, что мировой судья, у которого она служила письмоводителем, сошел с ума; она поэтому лишилась места и ей

некуда было больше деваться. Она, конечно, поселилась вместе с нами на Филах.

Лето, помнится, было хорошее, и, не смотря на наше безалаберное пытанье, старшая сестра начала быстро поправляться. В конце августа сестры уехали в Петербург, а я продолжала заниматься в мастерской и прожила в даче весь сентябрь.

II. Знакомство с П. Г. Успенским.

После отъезда Кати и Веры со мной поселилась сестра Успенского. 14-ти летняя девочка Надя. Успенский стал бывать чаще, не пропуская ни одного праздника, приходил иногда и по будням, после закрытия библиотеки, ночевал у жившего на Филах товарища Дешукова и возвращался рано утром в Москву. Хотя он был на один год с небольшим старше меня, он был гораздо развитее. Не смотря на общую для всех нас трех сестер застенчивость, с ним я чувствовала себя свободно,—высказывала все, что думала; он тоже много говорил со мной; мы вместе гуляли, а по вечерам, по долгу засиживались за разговорами в нашей хибарке, в то время, как Надя уже крепко спала за перегородкой.

Под его влиянием я стала больше задумываться над общественными вопросами, над положением народа. Он приносил мне книги по своему выбору, и, помню, очень стыдил меня за то, что я до тех пор ничего не читала из Добролюбова, кроме „Луч света в темном царстве“. Я читала в свободное от занятий в мастерской время, а затем мы говорили по поводу прочитанного: он объяснял мне то, что было для меня не совсем понятно.

Надя много рассказывала мне о своем печальном детстве. Отец Успенского служил казначеем в нижегородском дворянском институте. Мать умерла, когда Наде было всего лет 5—6, брат был старше ее на 7 лет—только двое и было. Отец сильно пил. После смерти жены он сошелся с кухаркой, с которой вместе пьянствовал и которая, под пьяную руку, часто била Надю, а когда брат заступался за сестренку, то доставалось и ему от кухарки и от отца. Учился Успенский в нижегородском дворянском институте и по окончании курса, поступил на естественный факультет петербургского университета, но по недостатку средств принужден был выйти со второго курса. У отца были средства, был дом в Нижнем-Новгороде, солидное по тогдашним временам жалованье (он дослужился до чина статского советника), были кое-какие сбережения, но он не помогал сыну. Общественной помощи студентам тогда еще не оказывали. Будучи студентом, Успенский познакомился с А. А. Черкесовым, крупным тогда издателем и книготорговцем, у которого на Невском был книжный магазин и лучшая из петербургских библиотек. В Москве у Черкесова была тоже библиотека и книжный магазин, и он предложил Успенскому занять место заведующего библиотекой, а вскоре затем и книжным магазином в Москве.

В конце сентября Ивановы переехали с дачи на свою московскую квартиру, переселилась и я с намерением продолжать занятия в мастерской, но вскоре обстоятельства изменились: из Петербурга я получила известие, что Майкова уехала за границу, мой проект открыть при ее помощи швейную мастерскую на артельных началах рухнул, и в Петербурге мне делать было нечего. Положим, и в Москве тоже, но за лето мы с Успенскими на столько сдружились, что не хотелось уезжать из Москвы, и тому же Успенский имел знакомства среди издателей и надеялся доставать для меня переводы.

Мы поселились все вместе в номерах, помнится, Романова на углу Тверской и Садовой—з, Успенский, Нада, с которой занималась жившая в тех же номерах М. О. Антонова, вышедшая впоследствии замуж за Феликса Волховского.

Почти каждый вечер у нас собирались знакомые люди, преимущественно молодежь обоего пола, человек 8—10; чаще всех бывали Феликс Волховский и Всеволод Лопатин. Самым старшим из нас были Феликс, ему было 24 года, он же был и самым опытным, пользовался среди нас авторитетом, так как успел посидеть слишком год в Петропавловской крепости за участие в „Рублевом Обществе“ и переписку со своим другом, Германом Лопатиным. В письмах этих, по рассказам Феликса, ничего преступного не было,—просто два друга откровенно высказывались по интересующим их вопросам; письма эти перехватывались, снимались с них копии и отправлялись по назначению. В результате—арест обоих и, после годичного тюремного заключения, высылка Германа на Кавказ и отдача Феликса на поруки матери.

Самым развитым был Успенский. Еще гимназистом, а потом студентом, он много читал, последние два года он был занят исключительно книгами и все свое свободное время употреблял на чтение. Покойный профессор Гольцев говорил мне, что своим развитием он много обязан Успенскому. Гольцев с первого курса в университете был подписчиком в библиотеке Черкесова, и Успенский, как заведующий библиотекой, выдавал ему и некоторым из его товарищей книги по своему выбору и вообще руководил их чтением.

Самым неразвитым членом кружка, как мне тогда казалось, была я, но желание пополнить свое образование было очень сильное, и никогда потом в течение последовавшей жизни я не читала так много, как в ту зиму 68—69 г.г.

Собиравшаяся у нас по вечерам молодежь не представляла из себя чего-нибудь определенного. Это был кружок саморазвития, не задававшийся пока никакими определенными целями, стремившийся только выработать в себе определенное мировоззрение, и если что намечалось в будущем, так это работа в народе, причем одни находили, что для этого достаточно тех знаний, какие у нас были, другие же, что и нам самим следует еще поучиться да и с народом познакомиться, но где и как с ним знакомиться, никто, конечно, не знал. Все мы были еще очень юны, неопытны, до многого приходилось додумываться самим, высисывать и приобретать из книг по крупицам то, что потом стало уже общими достоянием. Читали мы, помнится, статьи из «Современника» Чернышевского, «Исторические письма» Миртова, печатавшиеся в «Неделе». Читали, ко-

нечно, с особенным увлечением всякую «незаконную», попадавшую из-за границы или ходившую по рукам в рукописях. С полным восторгом приветствовалось появление номеров «Колокола», которые доставал откуда-то Успенский.

Зимой, в декабре, я ездила в Петербург повидаться с матерью и сестрами. Мать опять жила у сына, а обе сестры жили отдельно. Катя занималась переводами, а Вера работала в женской брошировочной и переплетной мастерской. Вера рассказала мне, что, посещая воскресную школу, она познакомилась с очень интересным человеком, преподавателем в этой школе, самоучкой, мещанином Нечаевым. По словам Веры, он резко выделялся своим умом, в особенности, своей энергией среди учащейся молодежи.

В феврале в Петербурге начались студенческие волнения, отразившиеся и на Москве. Произведено было много арестов; из нашего кружка были забраны Волковский, Надя Успенская, Антонова, Всеволод Лопатин и еще некоторые. Почему не был арестован Успенский и я, было для нас загадкой. Но что следили за нами-раем, где мы жили, и за библиотекой Чернышевского,—это было вне всякого сомнения. Вероятно, Успенский был оставлен на свободе в виде приваженки, как человек, у которого была связь как в Москве, так и в Петербурге, чтобы легче было следить за теми, кто имел с ним сношения. Но ареста можно было ожидать каждый день, и чтобы не разлучали нас, мы решили повенчаться.

Вскоре прошел слух, что Нечаев арестован, был заключен в Петропавловскую крепость, бежал оттуда и уехал за границу.

III. Встреча с Нечаевым.

Как-то вечером, в начале апреля к нам зашел знакомый сельский учитель из владимирской губ. Орлов ¹⁾ и с ним паренек, по виду рабочий, среднего роста с едва приближающимися усиками. Ничего в его лице не было особенного, фамилии своей он не назвал, и я не обратила на него особенного внимания. Он и Орлов начали о чем-то разговаривать с Успенским, а я занялась приготовлением чая. За чаем он сказал мне, что знаком с моей сестрой Верой. Не помню, что именно он говорил мне о ней; помню только, что он назвал ее здоровой, с произношением на «о», и потом еще раз сказал: «Здоровая она во всех отношениях». Когда Орлов и паренек ушли, муж сказал мне, что это студент, спасающийся от ареста, просил укрыть его на несколько дней или, по крайней мере, позволить ему переночевать у нас эту ночь, но, когда он узнал, что мы сами находимся не в безопасности, то решил поискать себе приюта в другом месте.

¹⁾ Владимир Федорович Орлов судился по Нечаевскому делу. Жил потом в Москве с женой, обремененный многочисленной семьей. Был близким приятелем Л. Н. Толстого. Умер в Москве в крайней бедности, в конце 90-х годов.

— А, может быть, это Нечаев, бежавший из крепости? — сказала я, вспоминая его разговор о сестре Вере.

Муж нашел мое предположение ни на чем не основанным. Мало ли у Веры знакомых студентов Нечаева в России нет, и он бежал за границу.

В конце апреля и в начале мая пришла ко мне Людмила Колачевская и рассказала, что накануне она приехала из Петербурга и привезла с собой пол пуда шрифта. Когда она с Николаевского вокзала подехала к дому помнится, в Дачном переулке, где жили ее родственники Шредерс и где она рассчитывала остановиться, она увидела у открытого окна Союзу Шредерс, которая махнула ей рукой и крикнула по-французски: „У нас обыск“. Людмила решила тогда проехать на Филли. Местность была ей немного знакома, так как она бывала у нас прошлым летом, когда мы все три сестры жили на Филах. Доехав до леса, она остановила извозчика, взяла саквояж, в котором помещались две пачки шрифта по 10 ф. каждая и, пройдя недалеко по лесу, спрятала их под хвост и нош; затем, сев на того же извозчика, вернулась в Москву и заняла номер в гостинице на Театральной площади (не помню, как называлась тогда эта гостиница, где помещается теперь Метрополь). И вот, благополучно переочевав там, она пришла ко мне утром с просьбой — поехать вместе с ней на Филли для того, чтобы зарыть шрифт в землю и в таком месте, которое я могла бы запомнить в случае ее ареста.

По Москве мы долго шли пешком и купили по дороге большой кухонный нож, который я спрятала под пальто, а затем мы наняли извозчика в деревню Филли. Там мы прошлись по улице, зашли в некоторые избы, под предлогом найма дачи, оставив извозчика около трактира, пошли прогуляться по лесу.

Людмила отыскала место, где накануне спрятала шрифт; мы взяли каждая по пачке и вошли по дороге к реке. Там на левой стороне от дороги на небольшом кургачике, окруженном деревьями, мы вырыли ножем довольно глубокую ямку, зарыли шрифт и засыпали хворостом.

Возвращаясь в Москву на том же извозчике, мы случайно разместились в пролетке так, что Людмила села на правой стороне, а я на левой. Когда мы подехали к гостинице, в которой накануне остановилась Людмила, было уже довольно темно. Подъезд, выходящий в сторону Малого театра, был освещен. Людмила, силевшая на приво — со стороны подъезда, шепнула мне: „Уходи, полиция“. Я ногой выпрыгнула из пролетки с левой стороны и скрылась, прежде чем стоявшие у подъезда полицейские успели рассмотреть меня. Людмила была тут же арестована. В ее вещах, находившихся в номере, ничего предосудительного не было найдено, тем не менее ее продержали несколько месяцев, затем освободили без всяких последствий. Допрашивали ее о том, что ведала она в саквояже, с которым ходила в лес на Филах; донес на нее, очевидно, извозчик, на котором она ездила накануне. Весь этот путь от Николаевского вокзала на Филли и оттуда до гостиницы, где она остановилась, показался ему весьма подозрительным.

Допрашивали ее также о том, кто та особа, которая ехала вместе с ней и успела скрыться.

Я поехала в Петербург, чтобы рассказать сестре Кате о том, что случилось с Людмилой. Сестра, оказалось, знала, что Людмила повезла прифт куда-то на юг, где намеревалась открыть тайную типографию, помнится, даже виделась с ней в день ее отъезда, но все это нисколько на ней не отразилось.

Вера, по прежнему, работала в брошюрочной. Тогда же она рассказала мне, как Нечасв сообщил ей о своем аресте. К ней пришел какой-то неизвестный студент и рассказал ей, что он шел по Троицкому мосту и повстречался с каретой, из окна которой была выброшена записка. Студент поднял ее, прочел на ней адрес Веры и слова: „меня везут в Петропавловскую крепость“.

IV. Арест матери и сестер.

Мать и обе сестры решили провести лето около Москвы и поручили мне прискать для них дачу.

Мы с мужем пошли сначала на Фли, но там подходящей дачи не оказалось. Мы прошли в деревню Мазилово, находящуюся не больше, как в версте от Фелей и наняли там две избы—одну поменьше для себя, а другую через дорогу побольше, в две комнаты, для матери и сестер. Сами мы два через два переехали в Мазилово, а мать и сестры должны были приехать через неделю; но прошло больше недели, — они не приезжали, и не было от них никаких известий.

Муж приходил на дачу каждый день, а иногда оставался здесь на один-два дня: подписчиков в библиотеке и покупателей в магазине бывает меньше в это время года, и в Москве его заменял помощник Яковлев.

Прошла еще неделя. Приходит к нам как-то немного знакомый студент и рассказывает такую историю: несколько дней тому назад ему пришлось быть по какому-то своему делу в жандармском управлении. Войдя в общую приемную комнату, он увидел в числе других посетителей пожилую даму и двух молодых девушек, сидевших рядом. Проходя мимо них, он спросил: „Кто вы?“ и получил в ответ: „Семья Засулич“. Узнать что-нибудь более подробно он не мог, так как в этой же комнате находились какие-то подозрительные молодые люди, поэтому разговаривать посетителям между собою было неудобно. Узнав от кого-то, что Успенский женат на урожденной Засулич, он ходил в библиотеку Черкессова, но не застав там Успенского и узнав там его адрес, пришел к нам в Мазилово.

На следующий день я отправилась в жандармское управление, но ничего там не добилась,—самым нахальным тоном мне ответили:—„не имеем удовольствия быть знакомыми с вашей матушкой и вашими сестрами“.

Через несколько дней получила письмо от матери, в котором она сообщала следующее об их аресте. Из Петербурга они выехали вполне благополучно, ни на вокзале, ни дорогой до Москвы, они не замечали, чтобы кто-нибудь следил за ними. Ехали они в дамском отделении вагона III класса, но когда поезд остановился, и пассажиры стали выходить, в вагон вошли жандармы и

объявили, что предписано их арестовать; затем забрали их вещи, посадили в карету и привезли в жандармское управление.

Не могу с точностью припомнить, а потому не ручаюсь, ехала-ли сестра Катя в одном вагоне с матерью и Верой, но не сомневаюсь, что она тогда же была арестована, может быть, в другом вагоне или в следующем поезде и присоединена была к ним в жандармском управлении.

Продержав 2—3 дня без всякого допроса, их отвезли обратно в Петербург. Мать вскоре освободили, а сестры были оставлены; Катю продержали в заключении год, а Веру два года в Петропавловской крепости.

Допрашивали только Веру: ее обвиняли в том, что на ее имя, по ее адресу, получались из-за границы письма от Нечаева, которые она должна была передавать общему их знакомому Орлову. Сестре Кате не было предъявлено никаких обвинений и держали ее в заключении только потому, что она сестра Веры, а мать была арестована, очевидно, только за то, что она мать своих дочерей.

Меня и мужа по-прежнему не трогали и даже не заметно было, чтобы следили за нами. Появились новые знакомые, в числе их Прижов, автор „Истории кабаков в России“. Это был, первый писатель, которого мне пришлось увидеть, и он произвел на меня неприятное впечатление, может быть, потому, что был сильно выпивши. Да и после, когда он стал довольно часто бывать у нас, он продолжал не нравиться мне; я никогда не видала его вполне трезвым, затем он очень много говорил, но очень мало интересного, много хвастался, был очень высокого мнения о себе и к нам, молодежи, относился свысока. Познакомил он нас и со своей женой, простой, доброй, совсем не развитой женщиной, не интересовавшейся никакими общественными вопросами.

Еще весной до переезда на дачу, я ездила по поручению мужа в Петровское Разумовское, где жили на выездах две сестры-близнецы—Анна Ивановна и Елизавета Павловна Боллевы. Они занимались переплетным мастерством, и муж давал им переплетать книги для библиотеки и магазина. Это были простые, милые девушки из бедной, мещанской семьи, ставшие впоследствии моими близкими друзьями. Летом они приходили раза два к нам в Мизилово со знакомыми и студентами.

Среди лета я, почувствовав некоторое недомогание, поехала в Москву консультироваться с врачом. Тот сказал мне, что я беременна. Это обстоятельство очень осложняло нашу дальнейшую жизнь. До этих пор мы жили по студенчески, в меблированных комнатах, без всякого хозяйства; теперь приходилось прискипать квартиру, обзаводиться кое-какой мебелью, посудой и т. д.

В конце августа мы наняли квартиру на 1-й Мещанской, купив на Сухаревке недорогую подержанную мебель и проч. Мы переехали в Москву. Квартира наша состояла из трех, средней величины, комнат внизу и двух небольших комнат наверху, в мезонине, которые мы намеревались отдавать в наем.

У. Деятельность и планы Нечаева.

В начале сентября, муж, придя домой, сказал мне, что к нему в магазин заходил тот самый паренек, который был у нас лесной вместе с Орловым. Что это, действительно, Нечаев, приехавший из-за границы. Вечером он будет у нас.

Я не сразу узнала бы его, если бы не была предупреждена мужем. В европейском, хорошо спитом костюме он казался худощавее и выше ростом. Синие очки скрывали выражение его глаз, смотревших несколько исподлобья; усики подросли. Все это вместе взятое очень изменило его. В тот же вечер он рассказал нам, что за границей познакомился с эмигрантами — Гурценом, Бакуниным и Огаревым. Много рассказывал о заграничной жизни, рассорашивал о сестре Вере, очень сожалел, что ей приходится сидеть в тюрьме в такое время, когда предстоит много работы. Помнится, тогда же он показал мужу и мне печатный лист, в котором было сказано, что он, Нечаев, является доверенным лицом от женского революционного комитета. Имелась подпись — Михаила Бакунина, и была приложена печать с какой-то уж не помню теперь — надписью.

Цель приезда Нечаева в Россию была — составить тайное общество, которое посредством организованных кружков, путем пропаганды и агитации, подготовило бы крестьян к организованному восстанию, приурочив все дело к 19 февраля 1871 года, когда кончалось десятилетие со времени отмены крепостного права и должна была последовать отмена помещичьего крестьянства, как временно существующих. Целью восстания должно было быть — захват земель и инспровержение существующего строя. Кружки, на которых должно было состояться общество, организовывались таким образом: составлялся кружок из 5 человек, причем каждый член такого основного, 1-й степени кружка должен был работать в той среде, которая была для него наиболее доступна. Каждый и вместе с тем каждый должен был составить кружок 2-й степени, члены которого, работая так же, как и члены 1 кружка, должны были представлять основателю кружка отчеты о своей деятельности; каждый в свою очередь основывал кружок из 5 человек, каждый из этих 5 еще 5 и т. д. В это он рассказывал нам вкратце, сказав, что подробности мы узнаем из „Общих правил организации“ — брошюры, привезенной им из-за границы.

В этот вечер он остался у нас ночевать в одной из комнат в мезонине, которая так и осталась в его распоряжении. Другую комнату занимал Павел Белзев. По временам он исчезал на несколько дней, затем в обратном, приводил день-два у нас и снова исчезал.

Вернувшись как-то из твоей поездки на родину, в село Иваново, Владимирской губ., он много рассказывал о крестьянах. Знал его с детства, они были вполне окровлены с ним, считали его своим человеком. Но слышал Нечаева, как в селе Иваново, так и в соседних деревнях, где ему и пришлось побывать, недовольство было общее, все ждали настоящей воли, дающей

парем и скрытой помещицкини. То же самое рассказывал си и позже, после поездок по другим губерниям.

Видела я его, таким образом, урывками, обыкновенно за чаем или за обедом, изредка по вечерам, когда он оставался дома.

Мне бывало смешно, когда впоследствии приходилось слышать отзывы о нем, как о суровом, мрачном фаватаке, или на сцене Художественного театра в драме „Ставрогин“, переделанной, как известно, из романа Достоевского „Бесы“, видеть вертлявого, рыжего человека, „беса“, который должен был изображать Нечаева. Ничего подобного не было в действительности; ни малейшего сходства: глупая и нелепая карриатура на Нечаева и вообще на всех нас. Нечаев был простым русским парнем, с виду похожим на рабочего, несколько пообтесанного городской жизнью. Говорил он по-владимирски на „о“ совсем просто, ни сколько не выдвигая себя; он любил шутить и добродушно смеяться.

Помню, как-то вечером, Прижов зашел за Нечаевым, чтобы вместе отправиться в баню. Мы с мужем сидели за самоваром в ожидании их возвращения.

— М-м-мальчишка, никогда больше не пойду с вами, а этого терпеть не могу,—раздался сердитый голос занкавшегося Прижова, как только мы отворили дверь,—и хохот Нечаева.

— Что такое, в чем дело?

— И-б-брызнул на меня холодной водой, а я этого терпеть не могу, все время вел себя, как мальчишка,—продолжал ворчать Прижов, а Нечаев покатывается со смеха.

— Ох, если бы вы видели его фигуру!..

На меня Нечаев производил впечатление умного, чрезвычайно энергичного человека, всю душу безгранично преданного делу. Такое же впечатление он производил на моего мужа и, несомненно, на всех, с кем встречался.

Больше всего, что у меня осталось в памяти—это чувство стыда перед ним. Сама я, благодаря моему положению—это были последние месяцы моей беременности, сопровождавшейся довольно тяжелыми симптомами, сама я ни в какие дела не вмешивалась, но из рассказов мужа я знала, какую кипучую деятельность проявлял тогда Нечаев, заводя знакомства, организуя молодежь, ведя пропаганду и резвясь по деревням и т. д. И мне стыдно было за свое, хотя и невольное бездействие перед ним. „Изот,—думалось мне,—человек, всего себя отдавший работе, тому делу, о котором мы до сих пор только разговоры разговаривали“. Мне стыдно было сознавать, что у меня нет личной жизни, личные интересы. У него же ничего не было,—ни семьи, ни личных привязанностей, ни своего угла, никакого решительно имущества, хотя бы такого же скудного, как у нас, не было даже своего имени; знали его тогда не Сергеем Геннадиевичем, а Иваном Петровичем.

Впоследствии я много знала таких людей, отдававших свою душу, всю свою жизнь на служение народу, но тогда это был первый такой человек.

Я безусловно верила ему и жалела только, что не могу пока принять ни в чем участия.

Два раза он обращался ко мне за содействием и оба раза вышла неудача. Первый раз в октябре. Узнав от мужа, что в моем распоряжении находится полпука шрифта, зарытого в лесу, Нечаев попросил меня съездить за ним, говоря, что этот шрифт очень ему нужен.

Людмила Колачовская находилась еще под арестом и неизвестно было, чем кончится ее дело. Посоветовавшись с мужем, я сочла себя в праве распорядиться шрифтом по своему усмотрению. Вооружившись кухонным ножом, и поехала на Филах, в сопровождении Прыжова. Всю дорогу он, по своей привычке повторять иногда по целым дням одну какую-нибудь фразу или слово, декламировал из „Бориса Годунова“— „Что пользы в том, что ливных казней нет, что на полу твоём кровавом всенародно не служим мы молебнов Хисусу“...

Доехав до лесу, мы оставили извозчика на дороге, идущей вдоль окраины, а сами через лес пошли к месту, где был зарыт шрифт. Место это я легко нашла. Расчистив хворост, Прыжов начал копать, а я стояла на стороже. Время было глухое, дачники все уже разъехались и кругом не было заметно ничего подозрительного. Но вот, вижу, от реки идет человек с собакой. Я сказала об этом Прыжову, он перестал копать, засыпал землей вырытую ямку и забросал хворостом. Все это он успел сделать прежде, чем человек, обзаведшийся лесным сторожем, подошел к нам. Мы вышли из-за деревьев.

Прыжов начал рассказывать, что мы жили летом на Филах, что у меня.— говорил он, указывая на меня,— подохла маленькая, любимая собачка, которую зарыли здесь в лесу.— „Что делать,— указывал он на меня,— пристага ко мне, поедем да поедем, найдем собачку и закопаем ее у нас в саду, а теперь вот не можем найти место, где она зарыта“.

Сторож молчал и улыбался, мне стыдно было смотреть на него. „И есть же на свете такие дуры, делать-то им, видно, нечего“—наверное, думал он.

Так мы и вернулись ни с чем. После этого Нечаев вместе с Прыжовым еще раз ездили на Филах и ничего не нашли. Так и осталось неизвестным,—какая судьба постигла шрифт. Быть может, его выкопал сторож, нашедший по нашим следам, при помощи собаки то место, где мы копали, а, может, он и до сих пор лежит в земле заржавленный, ни на что годный.

Затем,—это было уже в половине ноября,— Нечаев как-то обратился ко мне с вопросом,—знаю-ли я французский и немецкий языки? Я ответила, что знаю, хотя и не Бог весть как хорошо.— „Ну, настолько, чтоб доехать до Женевы без провожатого, знаете?“

— Насколько знаю.

— Можете-ли вы поехать в Швейцарию, чтоб помидаться там с Бакуниным, Огаревым и Герценом?

— Могу.

Какое счастье,—пронеслось у меня в голове,—побывать за границей, видеться с такими людьми, как Герцен, Огарев, Бакунин. Да я о таком счастье и мечтать не смела. Но я тотчас же очнулась и сказала:

— Нет, не могу.

— Это что же значит,—то могу, то не могу? Странные бывают люди, вообразят, что перед ними стена и остановятся, тогда как никакой стены нет.

— Нет, есть стена.

— Ну, что же именно вам может помешать? Скажите просто, что не хотите. Не ожидал я этого от вас; Вера Ивановна так не поступила бы.

Меня, наконец, взорвало.

— Да что же вы хотите, чтобы я родила дорогой, в вагоне,—разве вы не видите, в каком я положении?

— Да, действительно, стена, простите. Я не сообразила этого,—проговорила она мягко.

О цели поездки он, конечно, не стал говорить после моего отказа и, вообще, разговор по этому поводу не возобновлялся.

Впоследствии я узнала, что он с таким же предложенном обратился к Беллевой, Прижову, Бабарыковой, может быть, и еще к кому. Целью поездки было, главным образом, привоз литературы, брошюр, прокламаций и т. п. Привезенные самим Нечаевым в небольшом количестве экземпляры, каковы: „Общие правила организации“, „От сплотившихся к разрозненным“, „Прокламация народной расправы“ и др. разошлись в течение 2—3 месяцев существования Общества. Своей типографии в России не было, все писалось и печаталось за границей. На суде авторство всех этих брошюр и прокламаций приписывалось Нечаеву, высказывалось даже предположение, что известное стихотворение Огарева „Студент“, посвященное Нечаеву,—Нечаев сам написал и сам себе посвятил.

Помню ответ сестры Веры, когда я попросила высказать ее мнение по этому поводу:

— Где ему стихи писать,—он и прозой-то плохо пишет. Насколько она была права в этом, решать не берусь, но судя по всему, думаю только, что вообще писательство было не его делом.

Таково мое личное впечатление от знакомства с Нечаевым.

Знала я его недолго, от первых чисел сентября до 22 ноября, когда он зашел к нам в последний раз. 26 ноября мы с мужем были арестованы, а в декабре Нечаев во второй и последний раз уехал за границу.

Повторяю,—я безусловно верила ему, верил и мой муж, имевший возможность уже на совместной работе ближе познакомиться с ним.

Через полгода, когда давняя моей матери на поруки, я очутилась на свободе, мне пришлось услышать многое, не вразумившее с моим представлением о Нечаеве. Всякого рода слухов и разговоров было много, черпались они главным образом из „Московских Ведомостей“, как наиболее осведомленной газеты, благодаря ее сношениям с недоступными для других органов печати правительственными учреждениями.

VI. Неверность слухов о Нечаеве.

Говорили, что Нечаев лгал и не гнушался никакими средствами для привлечения молодежи. Но мне казалось, что ему не было надобности прибегать к таким средствам, чтобы влиять на молодежь, юную, горячую, не знавшую, куда идти, чему отдать свои силы, молодежь, в большинстве озлобленную против правительства за те репрессии, каким она подвергалась. Почти у каждого студента, почти в каждой семье были брат или сестра или близкий товарищ, друг, которых гнали по тюрьмам и рассылали по разным захолустьям, где царил тот же безграничный произвол. В возможность вызвать организованное восстание среди крестьян, восстание, которое могло разрастись до всеобщей революции и ниспровержения всем насолвавшего царского режима, Нечаев сам глубоко верил, верили и другие. Отдельные вспышки—бунты не прекращались среди крестьян со времени отмены крепостного права. Городских рабочих было тогда еще мало, это были те же крестьяне, приходившие в город на заработки, не терявшие своей связи с землей. И думалось, что и они откликнутся на призывы крестьян, уставших ждать настоящей воли. Говорили еще, что в деятельности Нечаева главную роль играло его чрезмерное властолюбие и честолюбие. В верности этого сомневаюсь. Возможно, что, сам работая, не покладая рук, он был требователен и к другим членам организации. Что же касается честолюбия, то вообще о нем трудно судить: надо слишком хорошо знать человека, жить с ним долго, чтобы судить, что им руководит, искренность или желание играть первенствующую роль? Во всяком случае, думалось мне, судя по всему, не эти черты играли главную роль в деятельности Нечаева в течение трех месяцев его работы в России осенью 1869 года. И до сих пор убеждена, что руководила им глубокая вера в революционность народа. Верила этому и организовываемая им молодежь, подобно тому, как верили этому и пропагандисты 70-х годов, отправлявшиеся массами в народ. Все это, конечно, было молодо—зелено, наивно, необосновано, но не забудем, что это происходило 50 лет тому назад. Говорили еще, что Нечаев явился в Россию самозванцем, что он лгал, выдавая себя за уполномоченного от Женевского революционного комитета. Это неправда, я сама видела упомянутый выше документ, подписанный Бакуниным. Этого не отрицал и сам Бакунин, как это видно из воспоминаний Ралли, напечатанных в журнале „Минувшие Годы“ за 1908 г., № 10. Напомню здесь, что он сообщает в защиту Нечаева.

„Увлеченный необычайной энергией понопробившего (Нечаева), Бакунин решил сделать его представителем русской ветви всемирного своего революционного союза. Вот, что рассказывал мне по этому поводу М.А. :

—Ввести Нечаева в Alliance я не хотел сразу уже потому, что в то время еще не предполагал открывать в нем русский отдел. Поэтому-то я и решил сделать его представителем особого революционного общества, в которое вошли бы, с одной стороны, все его товарищи в России, а вне России—связующим звеном был бы я со всеми моими из М. П. Об. Рабочих. Поэтому и была за-

казана особая печать с подписью: "Alliance révolutionnaire européenne", а полномочие, которое я дал Нечаеву, было подписано лично мною. С этим полномочием, собственно говоря, личным от меня, он уехал в Россию. Вскоре после его отъезда я получил от него письмо с извещением, что он благополучно пересёк границу, что ему много в этом помог болгарин Каравелов, которого адрес я ему дал. „Мандат, пишет дальше Ралли, — давший Бакунии, а также рекомендация к Любену Каравелову в Бухарест, много послужили Нечаеву. В Москве в особенности этот мандат произвел большое впечатление на Успенского и других“.

В этих же воспоминаниях Ралли, со слов Бакунии, говорит, что „Нечаев, приехавши в Женеву, объявил себя делегатом рев. комитета, который будто бы существует в России; как на члена комитета, он указывал на Ткачева, о котором Бакуния слышала, остальные фамилии ему были абсолютно неизвестны. Относительно существования комитета М. А. не сомневался до такой степени, что согласился дать Нечаеву расписку в том, что отдает себя в распоряжение этого комитета; расписки этой однако, нам не удалось отыскать в нечаевском архиве после ареста и выдачи Нечаева швейцарским правительством“.

Я не берусь тут судить, где правда, где ложь: существовал или не существовал такой комитет в России, объявлял или не объявлял себя Нечаев делегатом этого комитета. Во время моего личного знакомства с Нечаевым, ни у моего мужа, ни у кого из членов общества, организованного Нечаевым, не было повода сомневаться в его правдивости. Не имею никаких оснований сомневаться и в правдивости указаний Ралли, — я лично не знала его, но он был хорошо знаком с моим мужем и был близким приятелем моего зятя, Льва Павловича Никифорова, вместе с которым он участвовал в студенческих волнениях 69 года. Оба они знали Нечаева, бывшего вольнослушателем университета, а они были студентами.

В воспоминаниях того же Ралли, напечатанных в историческом сборнике „О минувшем“ в 1909 г., я нашла подтверждение того, что я слышала уже раньше, вскоре по моем возвращении из Сибири.

Среди отданной Нечаевым моему мужу на хранение литературы, была небольшая книжечка, напечатанная шифром и в нерасшифрованном виде она была забрана при аресте мужа. Нечаев сказал мужу, что она заключает в себе „Исповедь революционера“. На суде эта книжечка, уже расшифрованная, была прочитана, и она произвела, как на подсудимых, так и на публику, удручающее впечатление. Она состояла из 25 параграфов, и заключала в себе программу отношений революционера: — „К самому себе“, „К товарищам по революции“, „К обществу“, „К народу“. И вот через много, много лет я прочла в воспоминаниях Ралли, что Бакуния, узнав о намерении Ралли организовать освобождение Нечаева после его ареста в Цюрихе, привал нужным задать ему „головомойку“. „Когда революционер стремится спасти кого-нибудь из беды, он должен взвесить пользу, приносимую спасаемым, с одной стороны, а с другой, ту трату революционных сил, которые нужны для его спасения. В этом-то ты и ваюват перед нами, так как за спасение

Нечаев ты готов был пожертвовать стольким, скольким не имел права жертвовать“.

Формулировка этого обвинения,—говорит Ралли,—поразила меня своей тождественностью с текстом старой нечаевской программы. Я ясно видел перед собою автора этой программы, ¹⁾ которая, конечно, позже была перередктирована по своему на семинарский язык Сергеем Геннадиевичем ²⁾.

Оговорки Ралли, что программа была переделана Нечаевым, я, признаться, не помню. Для сличения привожу подлинный текст из программы, прочитанной на суде:

„Парагр. II. Когда товарищ попадает в беду, решая вопрос спасти его или нет, революционер должен сообразоваться не с какими-нибудь личными чувствами, но только с пользой революционного дела. Поэтому он должен взвесить пользу, приносимую товарищем, с одной стороны, а с другой—трату революционных сил, потребных на избавление, и на какую сторону перетянет, так и должен решить“.

Ничего „семинарского“ и „по своему“ я здесь не вижу ³⁾.

„Не желая огорчать напрасно М. А., я прекратил всякие пререкания, оставив времени излечить недуг, поразивший наши взаимные отношения. Переубедить Бакунина и не думал, так как это было невозможно мне, молодому человеку 23 лет, не прошедшему через огонь и медные трубы,—путь—дороженка, которая уже давно была пройдена от конца до конца этим застарелым революционером“.

Ну, а Нечаеву было всего 21 год в апреле 69 года, когда он познакомился с Бакуниным, в первую свою поездку за границу (он родился 20 сентября 1848 г.). Он еще меньше мог переубедить Бакунина, чем Ралли, более взрослый, более развитый, посидевший уже 2 года в Петропавловской крепости, побывавший в ссылке и бежавший оттуда за границу. А между тем эта „Программа“, как называет Ралли, „Исповедь революционера“ (так называл Нечаев моему мужу зашифрованную книжечку), „Катехизис“, как называет это произведение в своих воспоминаниях ⁴⁾ моя сестра Вера, присутствовавшая на суде, служили и служат до сих пор главным пунктом обвинений и нападков на Нечаева. Составилось убеждение, что эту программу написал сам Нечаев, он же распространял ее среди молодежи и неустанно действовал по этому катехизису. Таким образом, получилась „Нечаевщина“, синоним всего мерзкого, безыраствленного, оттапливающего. В действительности же, в России Нечаев этой программы не распространял, никто из подсудимых ее не читал, даже мой муж, ближе всех стоявший к делу. Как человек несомненно умный, знавший русскую молодежь,

¹⁾ Курсив мой. А. У.

²⁾ Курсив автора.

³⁾ См. „Государственные преступ. в России“, сборник, составленный под ред. Базилевского, стр. 189.

⁴⁾ См. „Былое“ № 14, 1918 г. стр. 97.

Нечаев понимал, что подобной программой он не привлечет, а скорее оттолкнет ее от себя.

Что программа, читанная на суде, авторство которой приписывалось Нечаеву, была написана Бакуниным, я узнала в первый раз от Перовской, с которой виделась несколько раз по возвращении из Сибири, в январе и феврале 1881 г. На первом же свидании, при разговоре о Нечаеве, она сказала, что в революционных кругах взгляд на него сильно изменился, что многое из того, что приписывалось Нечаеву, делали другие, главным образом, Бакунины, написавший программу, за которую так много нападали на Нечаева; эта же программа была распространена Бакуниным в Италии. Тут же она рассказала мне, что у них были завязаны сношения с Нечаевым, что они предполагали устроить его побег из крепости, но он отказался на том основании, что люди и средства, которые понадобились бы для его освобождения, могут быть использованы для более важного дела (этим более важным делом оказалось убийство Александра II первого марта). Сношения с крепостью, как известно, были организованы при помощи солдат из крепостной стражи, охранявших Нечаева, и прекратились они после того, как один из солдат, по неосторожности, передал письмо Нечаева не адресату, а его квартирной хозяйке. Не могу поручиться, что этот провал произошел именно так, и что об нем рассказала мне Перовская, а не кто-либо другой.

Когда Перовская попросила меня высказать мое мнение о Нечаеве, я сказала, что, по моему, он слишком рано выступил на сцену, что теперь (1881 г.) он мог бы быть бесценным работником, идя рука об руку с такими же энергичными и беззаветно преданными революционному делу людьми, какими являлись тогда народолюбцы.

— Мы тоже так думаем,—сказала Перовская.

Кстати о крепостных солдатах, охранявших Нечаева в Алексеевском ревелине и при посредстве которых он вел сношения с народолюбцами. Все они были арестованы, судились и приговорены частью к отдаче в дисциплинарные батальоны на разные сроки, другие были сосланы в Сибирь на поселение. О них мне рассказывал товарищ, сослуживец моего брата, офицер гвардейского гренадерского полка Сперанский, присутствовавший на суде.

— Все они держали себя молодцами, с большим достоинством и когда, кажется, прокурором было высказано предположение, что Нечаев действовал на них посредством подкупа, все они горячо запротестовали.

„Какой тут подкуп, раздались голоса,—№ 5 такой человек, для которого без всякого подкупа мы готовы были идти в огонь и воду“.

Ошибается и сестра моя Веря, в своих воспоминаниях, приписывая вниманию „Катехизиса“ довольно коничный эпизод—признание в любви к ней Нечаева, который вдруг сразу выпалил: „Я вас полюбил“... Но она забыла, что в то время, о котором она говорит—февраль—март 69 г., ни о каком „Катехизисе“ не могло быть и речи, его не существовало ни в уме Нечаева, ни вообще в России. Помню, что об этом эпизоде она рассказывала мне в Терпи, куда была выслана по освобождении из тюрьмы и куда я ездила из

Петербурга для свидания с ней, а также со старшей сестрой Катей и мужем ее, моим зятем А. Н. Никифоровым, тоже высланными в Тверь. Тогда она рассказывала об этом, как о курьезе, но о „Катехизисе“ и поминку не было. На суд она была вызвана в качестве свидетельницы и только тут, уже в 71-м году, познакомилась с „Катехизисом“. После суда и впоследствии у нас с ней разговора об этом не было. А почему не объяснить этот эпизод проще тем, что Нечаев, действительно, любил ее, но по свойственной ему мужиковатости, выразил это в своеобразной, неуклюжей, на наш взгляд, форме. Любить Веру было не мудро и не такому юниу, каким был в то время Нечаев. О других его признаниях в „Петербурге, за границей и в Москве“—могу только сказать, что в Москве едва-ли это могло иметь место за те 2—3 мес., когда я его знала.—не до того ему было.

Относительно убийства Иванова я ничего не знала ни до ареста, ни во время его. Все, очевидно, шло мимо меня; один только раз следователь по особо важным делам, помянутый Гераков, спросил меня—знакома-ли я с Ивановым?... На что я, по чистой совести, ответила—нет, ни разу не видала его.—А вы знаете, что он убит?—Нет, ответила я, и даже не спросила о том, кто его убил,—так далека я была от мысли, что это близко касается вообще организации и, в частности, моего мужа, о чем я узнала уже после освобождения. Подробности я узнала только на суде. Сама я не была на том заседании, в котором мой муж давал свои показания относительно Нечаева и убийства Иванова,—не помню, почему не была, скорее всего потому, что не могла ручаться за свои нервы; о том, что происходило в этот день на суде, мне рассказала потом Вера и другие. Чтобы возобновить в своей памяти это дело, происходившее полвека тому назад, я стала ходить в публичную библиотеку, где перечитывала стенографические отчеты, которые печатались в „Правительственном Вестнике“. Но и тут не многое мне удалось выяснить. В № 158 напечатаны краткие показания Успенского, по словам которого Нечаев обладал страшной энергией и имел большее влияние на лиц, знавших его. Он был верен своей цели, беззаветно предан своему делу и личной вражды ни к кому не имел... К Иванову никто из подсудимых не относился враждебно. Виделся с ним очень редко. Дальше Успенский говорил, что все они, главные подсудимые, чрезвычайно искренне относились к делу (организации Общества). „Что же касается меня, то я готов был пожертвовать своей жизнью, и подобное чувство испытывал не я один, но и другие“. Между тем, все уже давно замечали, что Иванов изменял обществу, слишком много говорил о нем и что общество от этого страдает. Затем они узнали, что Иванов отказывается от участия, что он выходит из общества и чуть-ли не хочет сделать даже больше, т. е. сообщить обо всем правительству (все это было заявлено Ивановым 19 ноября Прижову, который передал это другим). Вопрос о том, как поступить с Ивановым, был решен всеми единогласно.

В № 159 читаем заявление защитника Успенского кн. Урусова: „В № 158 „Прав. Вестн.“ напечатан отчет о заседании, в котором клиент мой, Успенский, давал свои показания. Я покорнейше прошу разрешить мне уча-

зять на некоторые, весьма важные неточности, которые вкрались в отчет и которые исправить обыкновенным путем не зависит от защитника. Я просил бы одно место показания Успенского восстановить в том виде, как оно было дано, в чем послужит порукою мнение самой судебной палаты, перед которой показание Успенского дано. Вообще я замечая, что показание Успенского кем-то процenzуровано и сокращено; на этом я не настаиваю, но для меня важно, чтобы по крайней мере те подробности, которые переданы в стен. отчете, были переданы верно, а не в искаженном виде“.

Судебная палата постановила заявление защитника отклонить.

VII. Отношение к Нечаеву подсудимых.

Затем защитник Урусов просит судебную палату для разностороннего разъяснения дела обратиться к тем из обвиняемых, которые были ближе к Нечаеву, с вопросом, касающимся характера Нечаева и его личности, как человека.

Успенский сказал, что „Нечаев производил впечатление человека полнейшей преданности делу в той идее, которой он служил. Сведениями он обладал громадными и умел чрезвычайно ловко пользоваться своими знаниями. Все мы относились к нему с полнейшим доверием“.

Кузнецов, подтверждая мнение Успенского о Нечаеве, добавил, что „он поражал всех знавших его своей энергией, которая доходила до того, что он спал только 3 часа в сутки, и вообще поражал преданностью делу, чем даже старался щеголять“.

Прижов заявил, что первой причиной его сближения с Нечаевым было то, что он вышел из народа. До 16 лет он был только грамотен и занимался писанием вывесок в селе Иваново. А когда Прижов познакомился с ним, то он мог уже читать философские сочинения на французском языке. „Я прожил 40 лет,—говорил Прижов,—встречался со многими литераторами, учеными, вообще с людьми, известными своей деятельностью, но такой энергии, как у Нечаева, я никогда не встречал и не могу представить себе“.

Николаев сказал только:—„Я знал, что Нечаев был очень энергичный человек, но объяснить, почему он именно влиял на нас, я положительно не могу“.

Никто из подсудимых в правдивости Нечаева не сомневался.

Половина № 162 „Прав. Вести“, в котором напечатана „программа“ якобы Нечаева, вырезана.

В следующем № 163 читаем вопрос члена суда кн. Трубенцкого, обращенный к Успенскому: „Вчера на чтении вещественных доказательств вы сказали, что программа революционера вам не была известной, что вы несколько не могли ей сочувствовать. Не можете-ли сказать нам, по крайней мере,—каким образом вы объясняете ту крупную меру, которая применена относительно Иванова, такой факт, который представляется как бы исполнением той программы, которую вы отвергаете?“.

Успенский отвечает на этот вопрос примером: „У больного делают ампутацию какого-нибудь члена для того, чтобы сохранить и исцелить организм. Таким образом объясняется то действие, которое было совершено над Ивановым: он мог погубить всю организацию... У меня составилось внутреннее убеждение относительно виновности Иванова, и те обстоятельства, которые я знал, подтверждали мое мнение. Если бы я не думал так, то никакая сила не заставила бы меня поступить против моей воли, которая, как я уже объяснил, была для меня дороже всего“.

— Но что же мог он сказать о вашей деятельности,—спрашивает Трубецкой,—ведь еще ничего не было сделано, что же он мог донести?

— Он не донес бы ничего существенно важного, но он мог бы сказать о всех членах (80 чел.), которые были организованы: они могли бы попасть в крепость. Да, мы уже знали тогда, что значило быть арестованным по самому ничтожному поводу, попасть в крепость; люди просиживали там годы и не все выходили оттуда безнаказанно,—многие наживали себе цыгугу, ревматизм, чахотку, сумасшествие, умирали или выходили искалеченными на всю жизнь, глухими, с распатанными нервами.

Из дальнейших показаний, как 4-х главных подсудимых, так и остальных 83 чел., ясно, что никто из них прочитавшей на суде программы не знал и до суда даже не подозревал об ее существовании. Из тех же показаний и затем прений сторон выяснилось, что Прижов и Успенский не принимали непосредственного участия в убийстве Иванова,—они были только свидетелями.

В связи с тем, что Иванов, состоя членом основного кружка, не стеснялся рассказывать посторонним лицам обо всей организации, мне припоминается такой случай.

Как—то вечером, совсем незадолго до нашего ареста, к нам зашла моя пансионерская подруга, Варя Коврей. Особенно близкой дружбы между нами не было, так как она была классом ниже меня, к тому же была приходящей, а я жила там, но в общем отношения между нами были хорошие, и мы изредко видались с ней. У нее было два брата и один из них, а может быть, и оба, наверное не помню, были студентами Петровской Академии. С ними я не была знакома и, вообще, о существовании нашей организации ни Варя, ни ее братья не имели ни малейшего подозрения. В этот вечер Варя пришла предупредить нас, что по городу ходят слухи, будто в Москве организовалось тайное общество с революционными целями, при этом называются даже фамилии. На вопрос бывшего тут же Прижова, какие упоминаются фамилии, она ответила, что не считает себя в праве называть их, но что указывают на магазин Черкесова. Зная, что Успенский служит там, она сочла долгом предупредить нас. Все это она узнала от своих братьев.

Были—ли эти слухи результатом излишних разговоров Иванова, наверное сказать, конечно, трудно, но возможно, что и так.

Арест наш произошел потому, что напали на след убийства Иванова; групп был замечен в пруду крестьянами Петровских-Выселок 26 ноября, а мы в ночь с 25 на 26 были уже арестованы.

Остается еще невыясненной возмутительная проделка братьев Лихутиных, студентов Попова и Прохора Мокрневича (прошу не смешивать с известным революционером Владимиром Дебогоря—Мокрневичем), взявших с Колачевского, путем угроз, вексель на 6000 р. Владимир Лихутин показал, что „выявне означенного векселя было не более, как шутка, которую он, брат его и другие захотели разыграть над Колачевским; что вексель этот до его ареста хранился в его комнате над дверью под обоими, а при аресте он указал на это место кому-то из своих товарищей—Попову или Ковалевскому“. Студенты Попов и Мокрневич, подтверждая все это, прибавили, что они через неделю сожгли этот вексель; Иван же Лихутин показал, что они действовали по наущению Нечаева и что вексель был передан Нечаеву. Несомненно, что это не была только шутка, но где тут правда, а где вымысел, и какую в действительности роль играл в этом деле Нечаев? Необходимо только принять во внимание, что некоторые из подсудимых, зная, что Нечаев находится „в пределах недосигаемости“, беспеременно сваливали на него свои грехи. Что вексель этот не был предъявлен и денег никто от Колачевского не получал,—это я узнала впоследствии от самого Колачевского, с которым была знакома с детства. Он был моим земляком, братом той Людмилы, о которой я говорила раньше. С Нечаевым он знаком не был.

Относительно ареста Нечаева весной 69 года и бегства его за границу — никто не сомневался осенью того же года, когда он вернулся в Россию с полномочием, подписанным Бакуниным, от женевского революционного комитета. (1) подробностях бегства ни я, ни мой муж его не расспрашивали. Уже после суда, на котором публика познакомилась якобы с „Нечаевской“ возмутительной программой, начались разговоры о том, что все это Нечаев выдумал, что он не был даже арестован.

В воспоминаниях мужа старшей моей сестры Еватерини, Льва Павловича Никифорова, напечатанных в „Голосе Минувшего“ под заглавием „Мои годы“ мы читаем:

„Весной 69 г., как известно, в Петербурге происходили студенческие волнения. Студенты добивались права сходок, устройства касс взаимопомощи, распределения пособий не начальством, а самими товарищами, устройства студенческих столовых, а главное доступа в высшие учебные заведения всем желающим. Нечаев, будучи вольнослушателем, принимал деятельное участие в этих волнениях. На одной из устроенных им сходок, в квартире студента Любимова, собрались представители всех высших учебных заведений, всего человек около пятидесяти“, в их числе был и Никифоров. Когда студенты выходили из квартиры Любимова, дворник с каким-то господином пересчитал всех их, но они не обратили на это никакого внимания.

Едва сходка успела разойтись, как Любимова потребовали к обер-полицеймейстеру. Здесь заведывавший секретной канцелярией Кошкин назвал

ему точную цифру бывших у него студентов и спросил, для чего и по какому случаю они у него собрались. Любимов ответил, как было условлено, что один товарищ просил уступить ему квартиру для вечеринки, желая отпраздновать свои именины. Он согласился, но сам ушел из дому, а когда вернулся, было всего лишь несколько человек, так что он никак не допускает, чтобы была такая масса. Колышкин притворился, будто вполне удовлетворен такими объяснениями и отпустил его домой, но когда Любимов уже был в дверях, он спросил его: „а кстати, слышите, пожалуйста, фамилию того товарища, который просил у вас квартиру“. Любимов, не ожидавший дальнейших распросов и радовавшийся, что так легко отделался, ошелит и назвал фамилию Нечаева.

„После этого,—говорит Ипкинфоров,—мы Нечаева больше не видели“.

Не забывалась от нападок и молоденькая сестра Нечаева, Лива Геннадьевна.

В 1908 году в январском № „Минувшие Годы“, где печатались воспоминания г-жи В. Починковской, она, между прочим, рассказывает о многолюдной прогулке из Петербурга в Пулково. Собралось 28 человек, в числе которых были известные писатели—Михайловский, Гл. Ив. Успенский с их женами и др.

„Ночью,—пишет Починковская,—все очень интересовались молоденькой девушкой, лет шестнадцати, маленькой, кругленькой и румяной, как наливное яблоко, с детски—наивными, карими глазами“.

„Сестра Нечаева, шепотом перебивали о ней друг другу.—До сих пор под надзором“.

„Спутник ее был тоже маленький четырехугольный студент—ветеринар с пухлым ртом, резко—угловатыми движениями и отрывисто—новелительным голосом. Он все время командовал ею, а она только звонко и весело хохотала“.

„До Царского вся компания ехала в отдельном вагоне третьего класса, а затем семь верст до Пулково шли пешком; по дороге не раз прижимались, развертывались свертки, раскуоривались бутылки.“

„И как сейчас помню.—пишет дальше Починковская,—одну характерную сцену, несколько бросающуюся в глаза. На самом солдечке посреди дуги стогами и копытами барахталась в сене пухленькая Нечаева и студент-ветеринар. Она совсем еще девочка, в слегка ватернутом вперед платье, уже заметно беременная, радостно звизгивала, когда он зарывал ее с ногами в голову, и они перекатывались друг через друга, очевидно, позабыв обо всем на свете.—И только слышалась по временам восклицания: „Ух, хорошо!“—„Хорошо? Ну так вот вам еще... А теперь что вы скажете? Хорошо?“—„Хорошо“.—радостно звал ее серебристый смех“.

„Совершенно как маленькое животное,—с улыбкой заметил мой спутник“.

—А ведь ее, бедняжку, чуть было в каторге не приговорили. Если бы не Урусов—приговорили бы непременно. Он защищал ее, как несовершеннолетнюю, а она уже—мама“.

Мы все три сестры хорошо знали Анну Печаву, особенно сестра Вера. Жила Анна у жены полковника Томиловой, судившейся по Нечаевскому делу, хорошей знакомой Веры и Сергея Ген. Нечаева.

В описываемое Починковской время, летом 1872 года, Анне Печавой было лет 18-19. Это была здоровая, стройная, выше среднего, почти высокого роста девушка, казавшаяся старше своих лет, благодаря задумчивому выражению глаз и серьезности не по летам.

Отец Анны был крестьянин с. Ивашова, владимирской губ., туйского у. Училась в сельской школе, там же, где и брат ее Сергей Геннадиевич, а когда последний переехал в Петербург и поступил вольнослушателем в университет, он вскоре перевез и сестру и поместил ее у Томиловой. Зарабатывая средства питьем, Анна в то же время училась, много читала, стараясь пополнить свое недостаточное образование. Так было до июля 1873 г., когда я уехала из Петербурга в Сибирь, и уже после слышала, что Анна Печава, окончив на акушерских курсах, вышла замуж за врача Славина и уехала вместе с ним куда-то (помянется в Среднюю Азию).

Ни я, ни мои сестры и никто из знавших ее, с кем мне пришлось говорить, по поводу воспоминаний Починковской, не мог себе представить серьезную, скромную, застенчивую Анну Печаву кувыркающейся на сене и радостно взвизгивающей, „совсем как маленькое животное“. Беременной тоже никто из нас ее не видел. Под надзором она не была. По „Нечаевскому“ процессу она не была арестована, не привлекалась ни в качестве свидетельницы, ни в качестве обвиняемой, так что Угусову не представлялось ни малейшей надобности защищать ее от яко-бы грозившей ей каторги.

Судя по описанной наружности „маленькая, кругленькая, румяная“ и т. д., все мы делали предположение, что Починковская и ее спутники заблуждались, называя сестрой Печавы сестру моего мужа, Надю Успенскую. Но беременной Надя тоже не была до выхода замуж за доктора Бюбина и также, как и Анна Печава, к суду по „Нечаевскому“ процессу не привлекалась, и никакая каторга ей не грозила.

Прочитав и вспоминая Починковской об Анне Печавой, я в тот же день написала коротенькую заметку по этому поводу и послала сестре Вере с просьбой исправить и дополнить от себя все, что она найдет нужным. Вера ответила, что совершенно согласна со мной, что исправить и дополнять ей нечего, и передала мою заметку в „Мин. Годик“, где она и была помещена в апрельской книжке этого журнала (1908).

Я уверена, что Починковская отнеслась бы осторожнее к любви незнакомой ей молодой девушке, не выставила бы ее, без достаточной проверки, на общее поругание, ну, а с сестрой такого чудовища, как Печав, — какие могут быть церемонии...

Александра Успенская.

Продолжение следует.